

ШТРАФНЫЕ БАТАЛЬОНЫ

Праздники он любил, особенно этот — 9 мая.

Готовились к нему заранее — основательно, со списками гостей и закусок. Благо, деньги водились: на знаменитом автозаводе, где он уже лет двадцать стоял у конвейера, «на карман» выходило нормально. Так что хватало хозяйке и на «коммерческий деликатес».

А вот напитки в магазине, известном на всю округу почему-то как милицейский,— закупал сам. Мужики, и теснившиеся в очереди, и «соображавшие» у входа, вопросов не задавали, но смотрели — с уважением. Понимали человека. Не ждал он их и от жены, когда шел назад, по-своему — с вывертом выбрасывая вперед правую ногу. При этом, избавившись от костылей еще в конце сороковых, ступал уверенно. Твердо — как печать ставил.

Гостей приходило не то чтобы много, но человек двенадцать-пятнадцать собиралось. В основном, родные и в тот день как-то по-особенному близкие. С некоторых

пор приглашалась и бывшая жена его — с его же сыном и снохою. Случалось, бывали и соседи по коммуналке. Но главным гостем все же была она — Победа. Определившая жизнь каждого из них, объединявшая их всех в этот день.

В выпивке — не стеснялись, но чтобы до дури... нет, до этого не доходило. Пили и за Победу, и за погибших, правда, поименно никого не поминали, в том числе — и капитана-артиллериста, отца единственной дочери хозяйки, так и не успевшего стать ей мужем... Поднимали рюмки и за хозяев, и за присутствующих. Пели и песни, но немного. В основном те, которые, казалось, были всегда. Как полагается, и веселье, и шум постепенно стихали, особенно ближе к концу застолья.

Когда же гости по большей части расходились — с поцелуями и объятиями, с частую необязательными обещаниями — вот тут-то и наступало оно, его время — то самое: личное, сокровенное. Он доставал пластинку, «на всю катушку» врубал радиолу и, распахнув окна, уходил на кухню. Курил, опершись локтям о подоконник, прищурившись, всматривался куда-то вдаль, будто стремясь вслед за песней:

*Считает враг: морально мы слабы,—
За ним и лес, и города сожжены.
Вы лучше лес рубите на гробы —
В прорыв идут штрафные батальоны...*

И что-то, почти неуловимо, менялось: не только в нем самом, но и вообще — вокруг. Но он не замечал этого, как и припозднившегося гостя, случайно оказавшегося поблизости, и мелькнувших в дверях собственных комнат соседей. Все куда-то отодвигалось, делалось несущественным, каким-то ненастоящим. Ведь и хозяйку свою, снующую с посудой,— не замечал.

Впрочем, и ее, ставшую неожиданно молчаливой, отрешенной, даже какой-то возвышенно строгой, как будто и не было здесь. Куда она уходила, где была, о чем думала в эти минуты — неизвестно. Да и не спрашивал никто. Оставляли — со своим...

А в распахнутые окна вновь и вновь выплескивалась песня. И над двором, над улицей, над всей этой неостановимой, но на мгновения неслышной жизнью все шли и шли они — штрафные батальоны:

Считает враг: морально мы слабы...

Он мотал головой, скрипел зубами, и плакал. Кстати — раны свои он получил в первом же бою, и Победу — впервые встретил в госпитале.

ВЫСКАЗ

Это настигло его, едва он, хлебнув воды, вернулся в постель. Накатившая как бы ниоткуда волна — легкая в своей тяжести и светлая в своей глубине — накрыла его и, подхватив, вознесла. Вознесла, и — понесла...

Осознавая всю бессмысленность сопротивления, он поначалу попытался пусть и не отринуть ее, лишь сохранить некую малую, но такую важную часть самого себя. Тщетно. Весь, без остатка, он уже был там, где и должен тогда быть. Да и как иначе, если зов души и ее отзыв уже являли собой единое целое.

Прошив пространство, в иное время окунулся он. И далекая жизнь приблизилась, оборачиваясь в настоящую. Он вошел в нее, и она пришла в движение, зазвучала, брызнув красками. Как бы сама собой стремительно обретала она при этом словесную плоть, делалась выпуклой, осязаемой, и в то же время — прозрачной, сквозной... Такой, что он уже мог выразить ее, казалось, в самом ее естестве.

На мгновение отпрянув от открывшегося, он решил было подняться, чтобы удержать, закрепить и эту жизнь, и себя в ней. Но вдруг отчетливо понял: нет, такое — уже никуда не уйдет. И, улыбаясь, уснул.

Утром, за один присест записав все так же ясно звучавшее в нем и взглядевшись в

то, что впитал в себя этот невесомый по сути листок бумаги, он без особого удивления признался себе: «А ведь что-то тут есть...». И вдруг, по достоинству оценив свой первый опыт в прозе, испугался: «Это что же теперь: прощайте, стихи?!..».

И весь день, весь день эта пугающая мысль не отпускала его. Как дальше без них — он, проживший едва ли не все свои семьдесят в их стихии, себе не представлял.

А уже ночью, почти в то же самое время, что и накануне, резко проснулся. И тут уж хочешь — не хочешь, — пришло встать.

Стихотворение, записанное держать его. Приняв произошедшее как откровение, он

силился уяснить себе: какого все же рода-племени его «Батальоны...». Рассказ? — Ну, уж нет. Этим понятием написанное никак для него не определялось. Новелла? Эссе? Очерк, наконец?.. Нет, и еще раз нет.

«Рассказ, рассказ... рассказывать... пересказывать... высказ... Стоп! Высказ...». И — к Далю. К Владимиру Ивановичу — за советом. И тот, как всегда, не подвел. Ну, конечно же — высказ! В смысле — высказать, сказать все, что знаешь, что на душе...

«Как точно... как же хорошо...». Этим и успокоился.

СТУПЕНИ

Поскользнулся он — на первой же ступени: сразу, лишь собираясь принять ее под ногу.

По все мыслимым и немислимым земным законам старик должен был «отметиться» на каждой из четырех, а то и просто — рухнуть вниз. А уж там, в этом месиве из снега и льда, грязи и воды, попытаться собрать кости. Если, конечно, было бы кому собирать... Ан — нет: вот он — стоит себе, живой и здоровенький. На своих двоих — стоит!

С опаской переставляя ноги, старик двинулся в сторону — поближе к свету. Но чувство неуверенности не отпускало и там. «Ну, да... очки...» — он понял, что сняв еще при входе в магазин (запотевают — не разглядишь ничего), так и не вернул их на место. Закурив, но отбросив сигарету уже после двух затяжек, еще какое-то время постоял в раздумье.

«Это что же получается: двумя путями с единого маху прошел?.. Н-нда... Скажешь кому — не поверят. А себе — чего уж врать. Даже матюгнуться не успел...», — усмехнулся невесело.

И в самом деле: раздвоение реальности — вот что не только ощутить, но и постичь успел он тогда. Прожить и пережить одномоментно, замкнув на себя время, и падение, и спуск — оставаясь на ногах, похоже, единственно возможным образом.

Долго, проходя привычным маршрутом, делая покупки — причем, и те, на которые и не рассчитывал, не мог отойти он от случившегося. А когда уже поднимался к себе на четвертый этаж — неожиданно легко, почти не ощущая тяжести — и своей, и покупок, вдруг вспомнил мальчика. Того самого, из магазина с ненормально крутыми ступенями.

Это ведь он, объявившись как бы ниоткуда, раскрыл перед стариком дверь, придерживая ее, пока тот выходил. Вспомнилось, как совсем не по-детски прозвучало «пожалуйста» в ответ на несколько растерянное «спасибо». Столь же серьезен был и внимательный взгляд мальчика, оставшегося стоять у дверей, когда старик шагнул на ступени. Пройдя свой путь до точки, но еще не начав выходить из нее, старик сумел принять этот взгляд во всей его полноте.

Поддерживая, он вел его и поближе к уличному фонарю. А вот ни глаз, ни лица мальчика вспомнить так и не получалось. Лишь строгая фигурка в зеленой курточке...

«И правильно, что не матюгнулся...», — неожиданно подумал старик, доставая входные ключи.

ЧЕЛОВЕК — ЧЕЛОВЕКУ

Поздоровавшись, он, было, уже проходил мимо, но что-то остановило его. Будто споткнулся...

— Еще раз привет, Володь,— пожав протянутую руку, присел рядом на шаткую скамейку.

Скользнув взглядом по своему сверстнику, отметил: «Постарел...».

Вот и дом — сгорбившийся, глядящий в землю, в оспинах по штукатурке, с побитым местами до дыр, давно почерневшим шифером крыши,— тоже...

Резко дернул лицо в сторону — к солнышку над беспорядочными кустами.

— Погодка-то сегодня...

— Угу...

Помолчали.

— Ну, как ты, Володь? Тут, значит, живешь?

— Тут. Да где ж еще...— тот устало покачал головой, как бы утверждая ответ.

— Один?

Для порядку спросил, ведь ясно было и так. Вот и бывший однокашник глянул удивленно: мол, о чем это ты...

— А как же эта... как ее... Ну, продавщица которая?..

В ответ — лишь слабое, бессильное движение руки.

— И давно?

— Давно...

Помолчали.

— Ну, а ты как? В отпуске?

— Да уж вторую неделю...

— Там все... в Туле?

— Там, там...

И опять — тишина: лишь солнышко по легкому ветерку. Совсем как тогда — тыща лет тому...

И разом вдруг ощутив это, они оба как бы очнулись, воспряли, почувствовав неожиданную, казалось бы невозможную в сей час близость друг к другу, даже в чем-то свое родство.

— Послушай, Володь. Ты это — главное не унывай... Жизнь — она такая, зараза... Знаешь, каждого по своему молотит...

И, еще не до конца осознавая, что говорить-то больше не о чем, что все уже, по сути, и сказано, решительно поднялся.

— Бывай...

Положив руку ему на плечо и слегка потряхнув его, будто помогая сохранить их общее теперь чувство, это пробуждение, шагнул в сторону. И, уже уходя, незаметно для себя почему-то убыстряя шаги, услышал негромкое, приглушенное, посланное ему в спину:

— Спасибо тебе, Валер...

Продолжая держать на себе неловкую тяжесть услышанного, медленно обернулся:

— Да за что?!..

— Что поговорил со мной...

Слезы текли по его лицу.

«Боже мой... Боже мой... Это какую же жизнь надо было успеть прожить, чтобы вот так... вот так...»,— сокрушенно все думал и думал он. А уже подходя к своему родительскому дому, вспомнил сказанное когда-то его сотоварищем по литературному часу: «Человеку нужен — человек...»

Прав был товарищ. Знал, о чем говорил.

ВЫСОКИЕ ВИШНИ

Какие же это были вишни! Ах, какие... Он таких — с роду не видал.

И в самом деле: в деревне, где, по сути, и рос у деда с бабушкой, за двором — лишь куст смородины. Которой, впрочем, вызреть не удавалось, ибо обрывалась еще зеленой, едва успев пообещать отдельной ягодкой свою спелость,— одним бочком, к солнышку обращенным.

Была, правда, еще бузина. Вот эта, обсыпанная,— буйствовала вовсю. Да толку-то... Есть-то ее — было нельзя.

А вишни — они там, где мамка с папкой,— в «тимесе», в остатках старого сада, где на месте бывшей барской усадьбы и располагалась МТС — машинно-тракторная станция, где жили и работали родители мальчика и куда они, от случая к случаю, могли на время забрать его. Как и в этот раз.

Исхитрившись, он поймал-таки веточку и подтянул к себе ягоду, каким-то чудом еще уцелевшую внизу. Вку-усно!.. Но больше поблизости таких не было, даже спрятавшихся за листиками. Задирая голову, мальчик искал их выше... еще выше... И вот там — на головокружительной, недосыгаемой высоте — их было много.

Не зная, что делать, он какое-то время постоял в недоумении. По всему выходило, что надо было лезть на дерево. Но как, если на такую верховину он никогда еще не забирался... А вишни — манили к себе, и не столько обещаемой, уже распознанной, вкусенной, еще не забытой сладостью, сколько высокой недостижимостью своей. И это было — куда сильнее.

Доверившись непонятному, новому для него чувству, мальчик начал подъем. И старое дерево — откликнулось на это, помогая ему где прочным еще сучком, где просто выступом коры. И вот он уже там, куда и стремился.

Устроившись на ветке, которая будто и ждала его, мальчик огляделся. Вишни — вот они, одна к одной, как на подбор: крупные, наливные, вызревшие почти до черноты. Ах, какие это были вишни!.. Они легко лопались, обдавая соком язык и небо, щедро даря неведомую доселе сладость, которая растекалась, чудилось, по всему телу мальчика.

А он, еще не насытившись, еще не напивавшись высокой радостью, вдруг остановился. Что-то было не так, что-то было неправильное во всем этом. Ну, конечно: такие вишни никак нельзя было есть одному. Ими обязательно надо было делиться, они — и для других. Уверившись в своей догадке, мальчик торопливо принялся обрывать ягоды, отправляя их за пазуху.

Спускаться оказалось куда сложнее: приходилось крепко обнимать дерево, где-то скользить по его корявому стволу, обдирая руки и колени. Но он не обращал на это внимания, это не волновало его. Уверенный, что все делал и делает так, как надо, мальчик спешил к маме — на работу, в контору того самого «тимеса».

И он — не ошибался. Непонятные ему растерянность мамы, промелькнувшие на ее лице и гнев, и обида куда-то исчезли, когда мальчик, придерживая у живота влажную тяжесть под рубашкой, шагнул к ее столу: «Это — тебе...».

И что-то как будто смахнуло, куда-то унесло все улыбки и смешки находившихся рядом, разом посерьезневших женщин, когда мама, просветлев разгладившимся лицом, молча погладила его по голове.

А рубашку ту — новую, белую — на него никогда уже не надевали. Но запомнил он ее — на всю жизнь.

КАРЯБАЧКА

Что-то, а вот хлеб — он всегда носил с собой. Нужен он ему был — и все тут.

Когда надо, рука сама ныряла в карман: отщипывала кусочек, который долго по-

том размягчался во рту, рассасывался от исконной кислинки до потаенной живительной сласти. Принимая ее, казалось, всем своим естеством, Валентий (как прозвал дед для удобства, так и прилипло...) чувствовал себя уверенно, бодро.

Вот и опять, не нашарив и хлебных крошек, а они — сухие, колючие летом и влажные, липкие зимой — выгребались чуть ли не все, завернул к родной избе.

— Чего тебе... водицы, хлебушка?.. — пропустив мимо скрип двери, откликнулась на его просительное «Ба-а?!» выглянувшая из чуланчика перед загнеткой — устьем печи — бабушка Арина.

Правильно растолковав смущенное молчание и протягивая кружку с водой, по привычке уточнила:

— Карябачку, небось?..

Проводив внука, какое-то время постояла в раздумье, будто вспоминая что-то. И, улыбнувшись чему-то своему, вернулась к неизменным, неотложным делам.

Хлеб в ту пору, слава Богу, в деревне уже не переводился, даже у Ларкиных, где одна мать ташила пятерых — мал мало меньше. Бывало, усадив свою ораву перед огромной миской со сваренной на воде картофельной похлебкой, заправленной ложкой постного масла, она отрезала ломоть и Валентию. Все на слободе знали: этот — хлеб любит. И как-бы даже по-своему уважали его за то.

Всякий он перепробовал, да только лучше своего — не было. И не потому, что бабушкин, а потому — что правда. Вроде и мука одна и та же — ржаная, и печки одни и те же — русские, а поди ж ты... Все так, а хлеб — разный.

Вкуснее всего, конечно, горбушка. Особенно когда из нее повыковыриваешь мякиш, оставив лодочкой одну корку — сладко-коричневую, ласково-гладкую, всегда почему-то теплую на ощупь. А уж если горбушка от лопнувшего в печи каравая — та самая карябачка!.. Тут уж — слов нет. Кому доводилось есть такое — тот и без того знает, а кто не пробовал — тому не объяснишь. Бесполезно.

Нету теперь того хлеба. И вряд ли он когда здесь будет.

Одно только надо сказать. Хлеб тот удивительным каким-то образом сохранялся сам в себе, в своей самости в любой состоянии: что прямо из печи, не успев толком остыть, что черствый, что став сухарем. Вот ведь как...

Долго потом Валентий, далеко ушедший от той незабвенной поры, давно утвердившийся в своем настоящем имени, пытался разгадать свою загадку: неодолимая тяга к «черняшечке» — на всю жизнь ведь осталась.

Простой оказалась разгадка. Хлеб заменил ему — так случилось — материнское молоко: нажевывала бабушка, завязывала в тряпицу, в узелок — вот и соска...

На хлебе вскормился человек. Потому он для него — и насыщенный.

НАЧАЛО И КОНЕЦ

Жила-была девочка. И нравился ей мальчик — из соседнего класса.

Как, почему нравился — она не знала. Хотя и не таким словом определялось, наверное, то чувство, которое переполняло ее душу, толкало на странные, нелепые для окружающих поступки. Просто было в этом мальчишке что-то такое... родное, настолько близкое, что притягивало, понуждало выплескиваться ее душевное тепло.

Вот и опять, едва завидев его в школьном дворе, она устремилась наперерез.

— Да иди ты... Пусти! — как мог, чуть не плача, пытался отбиться он от ее рук и губ.

— Ната-аша... Дочка! — строгий голос остановил ребячью возню.

Заправив под шапочку выбившиеся волосы девочки и поправив ей воротник, женщина крепко взяла ее за руку.

— Ну, и чего ты к нему прилипла... — как бы продолжая давно начатое, она тяну-

ла дочь за собой, незаметно для себя убыстряя шаг.— Ты погляди, погляди на него: замухрышка, смотреть не на что...

А то — и правда. Рослая не по годам, справненькая, вся какая-то светлая, милая — и не только ей, матери, но и другим людям — девочка уже сейчас обещала многое. Женщина усмехнулась, вспомнив взъерошенного мальчишку: «Это надо же, чисто воробьшек... мокрый...».

«Все равно... ну и пусть...» — отворачивая в сторону лицо, твердила себе девочка. Что за этим стояло, куда вело — на эти вопросы ответить было некому. А ведь что-то — стояло...

Лишь много-много лет спустя, вся ее долгая-долгая жизнь, уже готовившаяся обрести цельность, по-настоящему открылась ей.

Становясь явным, все более и более живым, проступил и он — ее сын: такой желанный, но так и не рожденный (что уж тут: Господь — не дал...). Она увидела его, казалось, во всей полноте, и потянулась к нему, остро осознавая, что это он и есть — именно тот, который столько раз представлялся ей в ее надеждах. Вот только лицо его...

Собирая свои очертания откуда-то из далекого далека, проясняясь, оно было — иным. Не чужим, нет, но каким-то другим — словно из забытья. И при том — тем самым: верным, истинным.

Это испугало ее, заставило собраться, напрячься изнутри. И не отпускало, пока видение, наполнившись жизнью, не обрело, наконец, устойчивую четкость, пока весь облик его — тот самый, издали, из начальных времен — не высветила улыбка, ни-спосланная — ей.

— Во-она как...— только и успела произнести.

Уронив на одеяло уставшие прибираться руки, она все быстрее и быстрее отходила туда — к своим.

КРЕСТ

— Осторожно! Двери закрываются...

Немного поерзав, поудобнее устраиваясь на вагонном диванчике и вновь порадовавшись, что место досталось и жене, и ему, он вернулся к себе. «Крутить стихи» под ритм колес — привычное, доброе дело еще с юности, с первых студенческих лет.

«Пошли» они и теперь — пока неясные, в смутных очертаниях, едва высвечиваемых вспышками далеких, пока не обжигающих искр. Но уже казалось, что еще чуть-чуть, и вот оно — заветное, единственно верное слово, взяв которое, ощутишь во всей полноте всегда неповторимый сладкий ожог необъяснимого чуда. Казалось, вот-вот... и...

Но что-то мешало прорваться, взойти посеянному в слове свету. Что-то незнакомое, непонятное старалось подавить наметившиеся было ростки. С тревожным изумлением поэт вдруг ощутил, как это — доселе неведомое, враждебное — растекаясь по нему, добираясь чуть ли не до каждой клеточки, опустошает не только душу, но и тело.

Он просто терял силы.

Не понимая, откуда исходит злая воля, которая, сгущаясь, все плотнее застилала уже и весь свет белый, он неловким, немощным усилием попытался найти, определить его. Чтобы встретить — лицом к лицу...

И сразу, едва подняв голову, наткнулся на сидящего напротив пассажира. Незрочный мужичок в бывалой одежде толи дачника, толи грибника с расплзшимся по полу возле ног просторным рюкзаком, слегка улыбаясь, с ласковой хитрецей глядел на него.

И это был — взгляд хозяина.

Две волны сшиблись, разом накрывая поэта. Но своя — жаркая — успела принести весть... Как мог, не осознавая своих действий, он бросил в супротивника образ креста, ниспосланный ему оттуда же, откуда и приходили стихи. И тот, опешив, отшатнулся в испуге, неспособный сопротивляться такому.

Снова и снова, со все большей и большей возвращаемой себе силой впечатывал, вбивал он в чужое, уже угасающее, животворящий крест...

«Добить, что ли...», — неожиданно для себя подумал поэт, выходя вслед за женой из вагона. Но взглянув еще раз на поникшего, скукожившегося пассажира, решил: «Нет! Слабак...»

Не стал он ставить на нем креста. Зла — уже не было. Оставалось пустое, ничемное существо, бывшее когда-то человеком.

ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ

Евгению Ивановичу Трещеву...

День — звенел весной. Пробившись сквозь оттаявший шум, все увереннее всходили ожившие голоса. Подвластные уже большому, уже достаточно окрепшему солнцу, они поднимались все выше и выше, перерастая — в небесные звоны.

Надежда всходила над землей. И казалось, что она — для всех. Казалось, что именно так и определил ее Тот, кто непостижим. Тот, кто распорядился: пребудет свет...

Так оно и было. Звоны множились, отзываясь в людях: во всем их облике, в устремлениях, во всех движениях их. Вот и детский лепет, взрываемый залиvistым, просторным смехом, был принят всеми и понятен всем.

Невольно приняла, усвоила его и эта женщина — привлекательная, еще статная, все еще уверенно несущая остатки былой красоты. И вдруг — что-то будто надломилось в ней. Проходившая мимо с младенцем на руках молодая мать, вся погруженная в свет, сама излучавшая его, была — не от мира ее. Так много было этого света, настолько он был нестерпим...

Поникшая, с размытым слезами, потерянным лицом, увлекаемая хозяйственной сумкой, женщина шмыгнула вслед за своей тенью.

Продолжил путь и случайный свидетель времен и сроков. И шагнул было в сторону солнечного звона. Но тут же — спохватился: а ведь ему — уже не туда... Усмехнулся, качнул головой — и пошел. Куда ж денешься...

